

«Нельзя преодолеть постмодерн, не усвоив его»

Беседа с В.В. Савчуком

Валерий Владимирович Савчук — доктор философских наук, профессор кафедры онтологии и теории познания философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, автор ряда монографий по философии медиа и теории культуры. Беседа состоялась 29 мая 2009 г.

Уважаемый Валерий Владимирович, я давно хочу задать Вам вопрос, связанный с моим опытом общения с коллегами на философском факультете СПбГУ. Всякий раз, когда речь заходит о том, чем я занимаюсь, мне говорят: постмодерн на наш факультет принес Валерий Владимирович, он первым у нас защищал диссертацию по постмодерну. Если же разговор выходит более обстоятельным, то говорят, что Вы не просто написали диссертацию по постмодерну, но сами задействовали стиль и язык постмодернистов. Мы сейчас не принимаем во внимание скользкость термина «постмодерн». Как бы Вы могли все это прокомментировать?

Да, это вечно повторяющаяся тема. Перефразируя классика, «прокатилась дурная слава...»

«... Что похабник я и скандалист?»

«...Что похабник я и постмодернист». Так что здесь действительно требуется некоторого рода прояснение. Начнем с того, что в далёком уже 1989 г. я был одним из организаторов общества философии и искусства «Новая архаика», где как раз и продумывались проблемы постмодерна. Тогда впервые люди, знавшие о постмодернизме не понаслышке, но работавшие в стилистике постмодернизма (это и руководитель авангардного театра «До-Театр» Евгений Козлов, и видеорежиссер, художник Вадим Драпкин, музыканты, критики и ученые), что для того времени было большой редкостью, выработали концепт того, что должно было прийти на смену постмодернизму. Нам тогда многие говорили: «Ну что вы воюете с постмодернизмом? Он ведь еще даже не ступил на нашу почву!».

На Западе 80-е как раз были временем расцвета постмодернизма в искусстве...

На Западе — да, а у нас это тогда только-только появлялось. Один пример: в 1991 г. мы устраивали фестиваль в «Бродячей собаке», и одна художница, сегодня ставшая довольно известным куратором и влиятельным деятелем искусства, очень активно использовала термин «симулякр». Я спросил её: «А ты знаешь, что такое симулякр?». Она честно сказала: «Не знаю, но слово энергичное». Это была интенсивно осваиваемая, совершенно новая для нашего общества интеллектуальная и культурная ситуация свободы, которая по свидетельству Андрея Хлобыстина началась «около 1987 года, когда термин “постмодернизм” проник на отечественную художественную сцену, его употребление, наряду со словами “дискурс”, “куратор”, “инсталляция”, “деконст-

рукция” и некоторыми другими волшебными словами-заклинаниями был проявлением интеллектуального шика». В то время я был членом редакции философского журнала «Ступени», один из номеров, которого (№ 2, 1994) мы решили посвятить постмодернизму. И тогда обнажилась со всей очевидностью ситуация того времени. Дело в том, что написать о постструктурализме и постмодернизме хотели многие, даже бывшие научные коммунисты предлагали свои услуги. А в итоге получился чистый постмодернистский жест, поскольку лучшими оказались статьи В.Н. Рыбникова и С.Г. Чукина — авторов в звании полковника и подполковника МВД.

С первым я, к сожалению, незнаком, а Сергея Георгиевича Чукина знаю как прекрасного специалиста по этой теме.

Открылось и то, что написать в духе постмодернизма, в его стилистике в ту пору в Петербурге могли считанные единицы, причем, большая их часть была не из академических кругов. Скажем, Аркадий Трофимович Драгомощенко, Александр Скидан, Алла Митрофанова. Из философов был Александр Секацкий, моя статья, статья Ольги Сусловой.

Узок круг этих революционеров...

На тот момент да. Материалы, в которых не просто говорится о постмодернизме, но в которых видно, как стилистика постмодернизма работает в качестве определенного стиля или способа мышления, набирались с огромным трудом. Эти статьи, на мой взгляд, по сей день нисколько не устарели.

Итак, представление, согласно которому я являюсь «постмодернистом», не совсем корректно, поскольку уже «Новая архаика» была попыткой расщелкаться с постмодернизмом. Это же касается и моей первой книги «Кровь и культура» (1995), где я попытался найти адекватный язык описания крови как феномена культуры, для чего пришлось отказаться и от принудительности оценочных суждений, и от традиционных предубеждений: «кровь» представлена в ней как некий объяснительный принцип, не исключающий, кстати, моментов ответственности и серьезности, всего того, что сегодня, после заката постмодернистского проекта, всё более активно появляется и в жестах художников, и в высказываниях современных философов. В частности, можно указать на обращение «причастных» к постмодернизму мыслителей (А. Бадью, Дж. Ватти-мо, Д. Агамбен, С. Жижек) к религии, которое критики тотчас же окрестили «теологическим поворотом».

Взгляд из прошлого, игнорирующий настоящее положение дел — я называю его ретроспективным взглядом или «взглядом из-под воды» — это взгляд тех людей, которые еще не вступили в современность; они не могут знать, критиковать неведомое им пространство, поэтому отрицают его. Здесь можно было бы вспомнить, что постимпрессионистов салон упорно называл по-прежнему «импрессионистами», в то время как художники (Поль Сезанн, Ван Гог, Поль Гоген, Тулуз-Лотрек) уже вышли за рамки импрессионизма, противопоставляя интересу к мимолётной игре света и неопределённости изображаемого мира поиск неизменных этических и формальных основ видимого, искали синтетические художественные методы их выражения. Их непримиримый отказ от импрессионизма и объявленная ему война все равно воспринимались в рамках импрессионизма: взгляд из далекого прошлого счёл их новое видение незначительным различием в деталях. В этом я вижу повторяющуюся иронию.

Ну да, Ван Гог вешают в зале с импрессионистами, значит, он импрессионист.

Да, то же самое и здесь: те люди, которые преодолевают проект постмодернизма, зачисляются в рубрику «постмодернизм». Ведь нельзя преодолеть то, что не было проработано и усвоено. Конечно же, эпоха постмодерна завершилась. Мне неловко повторять то, что я уже не раз говорил — в частности, в диалоге с Михаилом Эпштейном, публикация которого есть в Сети. Наступил конец постмодерна, поскольку стратегии игры, ускользания, равноценности противоположностей, отказ от определённости и принятия решений уже не работают сегодня, потому что структуры современной жизни жестко ставят человека перед необходимостью выбора. Осознавая себя в ситуации нового века, замечаем, что ускользание, ирония и дистанция, растворив все во всем, порождают скуку. Сегодня уже не интересно, как нечто подвергается деконструкции и разваливается. Гораздо интереснее, что остаётся, когда всё распалось, как за- или возрождается порядок, истина, ответственность за реализацию своего проекта. Самый яркий пример можно обнаружить в области изобразительного искусства, поскольку оно, в отличие от тяжелых инерционных машин философского дискурса, быстрее реагирует на происходящее в мире. Здесь всё наглядно: боролись с предметом — появляется новая предметность, боролись с сюжетом — вот вам новая сюжетность, боролись с картиной — возникла новая живопись. Искренность и серьёзность, которые первыми пали под напором постмодернистской иронии, возвращаются под маской новой искренности и т.д., и т.п. Возвращается то, что старательно изымалось на протяжении XX века. Вся эта «новизна» — отнюдь не забвение постмодерна, это действительное обновление, новация. Не нужно путать новую искренность с той старой, что предшествовала постмодерну, старую искреннюю убеждённость *в существовании объективной истины*. Это уже пост-постмодернистские попытки обрести некий топос, некое место, и ответственность за то место, в котором ты существуешь.

Одна из главных предпосылок заката постмодерна заключается в том, что в нынешних условиях уже нельзя более уповать на стратегию ускользания в многозначность трактовок, поскольку здесь ставится под сомнение само условие существования человека. И перед лицом реальной угрозы человеческому существованию установка «могу и иначе» уже не работает. Человек не может *как бы* жить, он должен ответственно выбирать между жить и не жить в этом топосе, стране, народе. Так единодушно были осуждены попытки композитора и художника Карл-Хайнц Штокхаузена интерпретировать террористическую атаку как перформанс, называя разрушение нью-йоркских башен близнецов «величайшим произведением искусства, которое вообще было во всем мироздании». Особенно его восхитили дрящяся многие годы духовная концентрация при реализации плана, точность в его исполнении и абсолютная безоглядность участников акции. К этому он добавил: «эти души в одном акте осуществили то, о чем мы в музыке не могли бы и мечтать: люди совершенно фанатично десять лет упражнялись, как сумасшедшие, готовились к одному концерту и потом умерли, представьте же себе, что тут произошло. Люди так сконцентрировались на одном представлении, что в один момент отправили пять тысяч душ на небо. Я бы не смог такого сделать. Напротив, как композиторы мы совершенно ничтожны. Но некоторые художники все же пытаются перейти границы мыслимого и возможного, чтобы мы пробудились, чтобы мы открылись для другого мира».

Террористический акт — это не то событие, которое можно интерпретировать прямо противоположным образом, с чем можно сравнивать искусство. В результате

жесткой и единодушной критики Штокхаузена он вынужден был оправдываться — мол его не так поняли, не то хотел сказать. С терроризмом нельзя ни играть, ни шутить, ни превращать его в перформанс. Хотя идеологи постмодерна, конечно же, не шутили — в постмодернизме с равной долей серьезности говорятся прямо противоположные вещи, он иронизирует над своей иронией, подвешивая любую определенность в режиме зыбкой неопределенности, удваивая тем самым процессы массовой, информационной, конsumerистской реальности.

Коль скоро мы вышли на проблему «конца постмодерна», давайте об этом и поговорим. Мог ли постмодерн «кончиться»? Мне порой кажется, что это такой взгляд, такой угол взгляда, такая новая оптика, от которой «вернуться назад» просто невозможно. И поэтому постмодерн останется навсегда.

Согласен с Вами, но только с тем добавлением (как кажется, отменяющим пафос Вашего замечания о вечности постмодерна), что и остаться в нем нельзя. На эту тему у меня был выставлен художественный объект «Художник помни, что был постмодернизм» в Центральном выставочном зале «Манеж» Петербурга.

Так ведь постмодерн сам предполагает собственную смерть... Как у Деррида: я деконструирую все, что подвернется под руку, а вы деконструируйте меня, а вас — еще кто-нибудь...

Не стоит здесь принимать на веру его само-артикуляцию. Деррида, который постоянно провоцировал интерес к деконструкции, настаивая при этом на неотторжимости способности к деконструкции от него лично. Он упорно не хотел признавать деконструкцию ни методом, ни набором общих правил, но в своем последнем интервью газете «Монд» (19.08.2004) все же сделал уступку *общему*, назвав деконструкцию «плодом европейской истории», «отношением Европы к самой себе». Деррида вовсе не столь легковесен, как теперь, на волне его критики, а еще более процессов вытеснения, представляется многим. В том же интервью он говорит о «новой ответственности», которую должна взять на себя Европа, и это высказывание совпадает с вектором общего движения выхода из ситуации постмодернизма — реанимации серьезности и ответственности.

Другая сторона вопроса касается рамок времени и места события. Во-первых, в историческом времени все времена существуют одновременно: мы можем увидеть реально существующее Средневековье в Афганистане, первобытное общество где-нибудь в лесах Амазонки и т.п. Во-вторых, постмодерн — это явление локальное, имеющее четкие ограничения — границы западной культуры, западной цивилизации, и говоря о всеобщности, мы всего лишь неосознанно стоим на точке зрения европоцентризма. Мы думаем о Западе как обо всем мире, но на самом деле это далеко не так. В-третьих, постмодерн и его смерть не тотальны — некоторые его носители продолжают существовать в этой парадигме, поскольку ничего другого они не умеют и перестроиться не могут. Они срослись с этой культурой, и с ней они уйдут. Хотя, повторюсь, многие американские интеллектуалы в одночасье стали критиковать его, тшась преодолеть или снять его.

Мне кажется, что это такая же игра, как те, в которые играли постмодернисты — взять да и стать фундаменталистами... Но ведь теперь это можно сделать только в игровом плане!

Нет, я решительно не согласен с тем, что постмодернизм — это игра. Здесь нужно сделать важную оговорку-предостережение (ловлю себя на мысли, что я вынужден защищать то, что прежде, еще со времен «Новой архаики», истово критиковал) от легковесных интерпретаций постструктуралистов в целом и Деррида в частности, и «голых» и «зряшних» отрицаний вчерашнего кумира. Следует различать концепты постструктурализма — философии, пришедшей на смену структурализму — и постмодернизм — культурную и интеллектуальную ситуацию, возникшую на отрицании идеологии модерна. Это был мучительный и во многом вынужденный ответ на те изменения и мутации экономики, культуры и политики, которые произошли к 60-м годам XX века. Деконструкция и отказ от бинарных оппозиций происходит не в воображении интеллектуалов, а в самой жизни: сама жизнь дезавуировала понятия прогресс — регресс, высокое — низкое, внутренне — внешнее и т.д. В этом смысле философия постструктурализма явилась *наиболее точной и адекватной формой описания реальности того времени*. И серьёзность того же Ж.-Ф. Лиотара, который на пятнадцать лет замолчал, потому что был занят делом в группе «Социализм или варварство», пошел на завод, участвовал в рабочем движении, свидетельствует о том, что он далеко не безответственный человек. Напротив, где в нашем отечестве найдёшь современного последовательного и искреннего философа, который бы окунулся в сферу практической борьбы, а затем полноценно вернулся к философии? Постструктурализм реагировал на развал идентичности, воздвигнутой на фундаменте классического субъекта, на невроз современности — это была не игра, не ловкий прием, не кабинетный кунштюк, а очень *серьезный и ответственный* выбор, принятый не без колебаний, не без мучительного разрыва со своими собственными убеждениями и идеалами классического образования. Другое дело, что к серьёзным концептам всегда примешивается довольно большое количество тех, кто принял их ответственные выводы лишь по форме, играючи. Людей, научившихся интеллектуальному виндсерфингу, с равной долей эмоциональной включенности — а вернее, равнодушием — скользящих по самым разнообразным проектам, касающихся различных концептов, но не сделавших ни один из них способом своего видения, исходным принципом или кредо, сформировалось довольно. Подобное легко увидеть в истории искусств: второй и третий эшелоны авангарда лишь пассивно впитывают уже созданную атмосферу, хотя приём здесь виден гораздо яснее, чем у отцов-основателей, поскольку не сопряжён ни с какими поисками. Классик всегда выламывается из того направления, который сам же и порождает. Такова ирония истории.

Повторю, постмодерн умер точно так же, как умерли Классика, Возрождение или Античность. Сегодня невозможно быть актуальным мыслителем, не зная того, что разработали постструктуралисты с их подозрительностью к притязаниям на всеобщую истину, с их аналитикой того, что замалчивается очевидностью, его обнажением инстанций власти и стратегий принуждения, соблазна, масс-медиальной формы сборки субъекта, иконической реальности и т.п. Всё это входит в основание мысли современного интеллектуала, как его методологический ресурс и аналитическая установка. В этом смысле постмодерн вечен — как вечны Классика, Возрождение или Средневековье. Никакого серьёзного противоречия я здесь не вижу.

Но на смену постмодерну пока ничего не пришло.

Пока да. Сегодня мы не владеем концептами, которые обладали бы такими же решающими способностями, таким же объяснительным потенциалом, таким же ин-

струментарием анализа. Казалось бы, умер постмодерн — значит, настало время его оппонентов, время тех видов аналитики, которые всегда были к нему оппозиционны, или классической метафизики...

...Или, наоборот, синтеза.

Чего угодно! Но ведь ничего весомого пока не прозвучало. Есть общее правило: вернуться и сделать вид, что ничего не было — уже невозможно. Ведь ты не современник Хайдеггера, Гуссерля или Владимира Соловьева. Поэтому, никаких концептов, подобных тем, которые точно и эффективно объясняли то время и те западные общества, я не вижу. Но возможно, что означает здесь вполне вероятно, время универсальных подходов кончилось. Другой вопрос, вопрос уже историков философии — о географических границах действенности концептов постструктурализма в деле объяснения ситуации в далеких от Европы и США регионах. Если ареал распространения психоанализа, действенности его практики более или менее очерчен, то в отношении постмодерна эта работа еще не проделана.

Действительно, постмодерн, уйдя в историю, оставил нам новую оптику видения, дал огромное количество терминов и аналитических приёмов, благодаря которым наше видение реальности оказалось гораздо чётче. Приращение было весьма существенным. Но час альтернативных концепций еще не пришёл. Как положительный момент я наблюдаю рост качества исследований конкретных тем и сюжетов, пусть и медленный, но все же заметный растущий интерес друг к другу. Возможно, это этап, когда нужно собирать камни.

Конечно, постмодерн — это вчерашний день, только сегодняшний не наступил. Поэтому постмодерн остаётся.

Да, нельзя написать «Капитал» в эпоху осени средневековья. Постмодернизм есть определенный этап развития, исторический период, стиль в искусстве, мировоззрение — и всё это уже было в прошлом.

Давайте попробуем взять понятие «постмодерн» шире — как то, что пришло на смену глобальному европейскому проекту модерна.

Можно вспомнить, что Хайдеггер понимал под модернистскими странами именно страны европейские и выделял два их главных противника — Америку и Россию. А в истоках модернизма стоял Декарт — главный «оппонент» его мысли. Исторический оптимизм, задаваемый модерном, к середине XX века, не в последнюю очередь в связи со Второй мировой войной, Освенцимом и атомными бомбардировками, иссяк. Таковы социокультурные и естественнонаучные предпосылки нового мировоззрения. Всем стало ясно, что прогресс науки и техники может привести к самоуничтожению человечества. Так что завершение проекта модерна в силу естественного хода истории можно увидеть без глубинных экспликаций теоретического характера.

Так что постмодерн — скорее вынужденный проект, если, конечно, его можно назвать проектом.

Ж.-Ф. Лиотар нашел удачное слово «ситуация». Это не система, не мировоззрение, а именно ситуация. Каждый из тех, кого мы объединяем под рубрикой «постмодернисты», был самостоятельным оригинальным мыслителем, не смешивающим свою

позицию с другими. Так, Фуко говорил по поводу своего отношения к структурализму: «Я лишь певчий в хоре».

В общем, я вынужден констатировать, что модерн завершается естественным путем, его конец не навязывается кабинетными мыслителями. Равно как и постмодерн, завершился не в результате критики его противников, скорее от истончения его возможностей объяснять новые явления и в первую очередь терроризм, то есть из-за возникновения новой исторической ситуации.

Вы говорили о том, что в середине 90-х постмодерна стало слишком много, все бросились читать... А почему не бросились писать? У нас ведь практически отсутствует русская исследовательская литература о постструктурализме, о постмодерне в философии. Например, Бодрийяра читали все поголовно, и не только философы. Но почему только мне пришло в голову написать о нем книгу? Почему этого никто не сделал до меня? Почему никто не пишет?

Я не могу не вспомнить наши жаркие споры с Сергеем Фокиным в 90-е годы. Он утверждал, что вся наша философия сосредоточена в университете, а я говорил — нет, наша особенность такова, что ее живые импульсы идут извне университета. Мы долго спорили, и каждый находил свои аргументы, у каждого была своя правота. С одной стороны, было очевидно наследие советской системы: люди просто не знали иностранных языков. А в андеграунде были люди, которые могли не иметь высшего образования, но хорошо знали английский или французский языки, имея время, они переводили важные, но неизвестные здесь философские тексты XX века, вынуждены были их комментировать, изобретать русские эквиваленты понятий, при этом они философами не стали, своих концептов не предложили. С другой стороны, из всех тех философов (а их я знал немало) кто, не желая «предавать себя и обслуживать систему», уходил в кочегары, дворники или сторожа, после падения Советской системы в отличие от писателей и поэтов ничего не предложили, не вынули из стола, не поразили нас своими глубокими и продуманными книгами. Для философии нужен контекст, сообщество, споры и регулярный труд. Для этого, видимо, нужна академическая ситуация. В тоже время не могу не указать на тенденцию XX века признавать философиями авторов, при жизни которых их таковыми не считали: В.В. Розанов, Ж. Батай, М. Бланшо, В. Беньмин, Э. Юнгер, В. Флюссер и др.

А кто выпускал книги о популярных у нас западных авторах?

У меня есть целый ряд знакомых, которые написали первую в России книгу «о ком-то». Вы — о Бодрийяре, Сергей Леонидович Фокин — о Батае. Я оппонировал диссертацию социолога Ю. Ватолиной, которая затем опубликовала первую книгу о Вальтере Беньямине (удивив меня, поскольку я думал, что при той популярности Беньямина у нас, мнилось мне, должна существовать уже не одна монография о нем). Мой аспирант сейчас защищает диссертацию о М. Бланшо, и я надеюсь, что она вскоре обернется первой книгой о нем. Рискует выпустить книгу тот, кто обладает нужной решимостью. При этом я не считаю, что хорошая статья имеет меньшую ценность, чем монография.

Хорошо, а где хорошие статьи о постструктуралистах? Их можно пересчитать по пальцам.

Хорошо бы услышать ваш рейтинг. Может озвучите авторов. На мой вкус хороши краткие, но информационные статьи «Словаря современной зарубежной философии» под редакцией В. Малахова и В. Филатова.

Но ведь это статьи энциклопедического, а не аналитического характера! Где рефлексия?

Да-а, с рефлексией сложнее. Но, подозреваю, что у нас разное понимание рефлексии. Под ней у увлеченных тем или иным автором понимается анализ, место и роль, к примеру, Дитмара Кампера, в немецкой философии или Делеза во французской. В редких случаях (в основном для западных же читателей) о пути и ареалах распространения мысли на все еще необъятных просторах России. Соотнесение с отечественным контекстом, как правило, отсутствует. У нас на сотню импортёров западной мысли, едва сыщется один-другой экспортёр нашей интеллектуальной пенки. Однако одно могу сказать в оправдание существования отечественных философов, себя в их числе: сколь бы ни были хороши западные мыслители, никто из них за нас, о нашей ситуации, о наших проблемах думать не будет. Другое дело, что для нас, из наших позиций и главное интересов (выведать бы и прозреть, в чем они), и *за нас* должны думать отечественные философы европейского уровня. Право же, у нас привычно почитаемы люди одной-ногой-там. Понять их можно. Ведь так хорошо любоваться чужими соборами, благопристойностью и чистотой маленьких городов и сел, разумным устройством политической, экономической и университетской жизни, как и текстами, произведенными в этом контексте, а у себя все ругать, пересказывать чужие концепты и *ровным счетом* ничего не делать для своей культуры. Напротив, они объективно заинтересованы в отставании, поскольку только так сохраняют свое исключительное положение.

Однако не нужно думать, что рефлексия западных авторов у нас уникальна. Во многом то же происходит с Василием Васильевичем Розановым. Многие признаются в любви к нему, но, кроме биографических работ тех специалистов по истории русской философии, которых обычно не склонны читать философы (они читают самого Розанова), серьёзных, конгениальных Розанову работ нет. По-видимому, философы просто не рискуют братья за него; он слишком неудобная фигура, ведь у него можно найти прямо противоположные суждения по многим вопросам, самоиронию, язык литературного персонажа по имени В. Розанов, мысли которого могут не совпадать с мнением Розанова-мыслителя. Часто мыслители ограничиваются тем, что выискивают и приводят его хлесткие фразы. Есть целый ряд авторов, вызывающих интерес, но исследования о которых скудны и ограничены.

Не рано ли нам в такой ситуации «изживать» постмодерн? Может быть, сперва его всё-таки стоит изучить?

Мне кажется, этот вопрос нужно перевести в другую плоскость. Изживать — не значит закрывать. Более точный термин — пережить. *Пережить*, во-первых, значит пропустить через себя, прожить с ним, посмотреть на мир его глазами, а во-вторых, пережить как возраст, болезнь, эйфорию. Постмодернизм умер как актуальная форма философского высказывания. Но при этом он уже стал историческим этапом философии. Если он умер, это вовсе не значит, что его не нужно читать и изучать. Напротив, его теперь нужно изучать как исторически завершившийся этап. Он стал предметом истории философии. Сегодня интонацию постмодернизма я уже не могу воспринимать

«вчистую», на уровне самоощущения это так же невозможно, как воспроизводить интонацию романтиков, первых героических модернистов, позитивистов. Я знаю, как это делается, я вижу приём, но сегодня он уже не схватывает явления нашей жизни. Любая философия в тот момент, когда она создается тем или иным автором, всегда что-то приоткрывает. Так было и с посмодернистской лексикой: такие понятия, как диссеминация, симуляция, номадизм позволили схватить и удерживать нечто такое, чего другие понятия этого не дают, расширили наше видение-понимание. Но потом, по прошествии времени, понятие остаётся в том времени, в котором или из которого оно возникло, а время, обстоятельства и резоны уже другие. До какого-то момента понятие еще адекватно описывает реальность, а потом реальность меняется, а понятие её банализирует, возвращая к делам давно минувших дней. Да и как может остаться незабываемым способ понимания мира, когда сам мир радикально изменился, когда пришли иные времена, нравы, образы, скорости жизни, мысли, а понятия остались теми же? Старые понятия — как устаревший автомобиль: тратят много ресурсов и загрязняют окружающую среду. Иное дело переход в ретро, антикварность.

Я с Вами согласен. Понятно, что риторика 68-го года сегодня уже не работает.

Конечно. Дискурс 68-го года (и сколь бы, например, Фуко не настаивал на различии мыслителей, относимых к нему, однако у них есть общее основание, не только в сопротивлении классической метафизике, классическому субъекту, но в некоей исходной вере в возможность интеллектуалов что-то существенно изменить в мире, у них есть несомненное единство, единство интонации, веры и морали) остался в своём времени. К тому же, тенденция ускорения исторического времени иллюстрируется тем, что если прежде для смены парадигмы нужно было несколько поколений, то сегодня на протяжении жизни одного поколения успевают смениться несколько парадигм. Прежде философу нужно было прожить очень долго, чтобы увидеть, как его философия завоёвывает популярность (вспомним хотя бы Шопенгауэра). Тогда темпы изменения социальной жизни были медленными. Сегодня же философ, сказавший что-то важное, успевает не только дожить до популярности своих идей, но и дважды пережить её: и закат, и, возможно, новый к ним интерес.

Как Гадамер, например.

Как Гадамер, как целый ряд других философов, в том числе и как постструктуралисты. То же самое происходит сегодня с музыкантами, художниками и т.п.

Конечно, Штокхаузен — это уже не авангардный композитор, а сам себе памятник.

Да, он живой классик.

Давайте отойдём от французов-постструктуралистов в ту область, о которой я знаю гораздо меньше и надеюсь что-то узнать от Вас. Параллельно с прогремевшими в XX столетии французами существует немецкая философия, живущая сама по себе — Слотердайк, Кампер, Флюссер и др. В представлении большинства людей, даже тех, кто занимается историей философии, Германия — это по-прежнему страна, в которой царствует диалектика, феноменология, в крайнем случае, какая-то философия хабермасовского образца. Что Вы, как человек, близкий к новой волне немецкой философии, можете о ней сказать?

Во-первых, в Тюбингене, Фрайбурге, Гейдельберге и т.д. по-прежнему сильны школы трансцендентализма, есть феноменологи. Действительно, немцы с большой осторожностью принимали новые веяния. Дитмар Кампер был одним из первых, кто привечал поэта Целана, философов Деррида, Фуко, Бодрийяра, приглашал их в Германию. Это и были первые попытки знакомства немецких гуманитариев с французской мыслью.

Наш соотечественник, как правило, легко цитирует постструктуралистов, аналитиков и психоаналитиков (при этом авторов, принадлежащих к противостоящим лагерям) и т.д. Когда же он оказывается в одном из них, его речи вызывают недоумение и непонимание: как может человек обосновывать свои соображения цитатами из авторов, которые стоят на противоположных позициях и в принципе несовместимы. Например, в обществе психоаналитиков человек, которого они считают своим, цитирует их непримиримых оппонентов, что для этого сообщества табу. Кроме того, мы забываем о том, что между философскими сверхдержавами Европы всегда ощущалось противостояние, иногда переходящее в тяжелые позиционные войны. И никогда французский автор не будет немецким или английским философом и наоборот. Эта интеллектуальная диспозиция позволяет понять себя, добавив к саморефлексии понимание себя соседом и противником. Как нам избежать крайностей — самодетельности, непрофессиональности, этнографической экзотики, с одной стороны, и самоуверенно-высокомерного приклядывания к нашим фигурам лекал чужестранных концептов — с другой? Надо знать, чтобы размышлять о своей культуре, ситуации — а не изучать, все более и более приближаясь к избранному философу, чтобы не думать о себе, своей ситуации, настоящем, чтобы не рисковать, говоря о себе и на своем языке.

Эта напряжённость взаимодействия существует издавна. Посмотрим, например, на смену языка науки. В Средние века это была латынь, которая осталась близка романским странам — Италии, Франции, Испании. Потом Декарт стал писать по-французски, а Лейбниц, замороженный гением Декарта, тоже стал писать на этом языке. Французский стал языком культуры, дипломатии и т.п. До последнего времени в иностранных паспортах фамилии писались во французской транскрипции. Но затем языком философии постепенно стал немецкий. Вспомним хотя бы Гегеля, который, когда его попросили написать что-нибудь короткое для французской энциклопедии, ответил: «Кратко, да ещё по-французски — никогда!». Это неприятие французского языка как языка философии в Германии постоянно присутствует. Хайдеггер, например, заявлял, что весь французский экзистенциализм вырос из неправильного перевода его *Dasein* на французский язык. Он же утверждал, что когда француз начинает размышлять, он переходит на немецкий язык.

Эта история продолжается. Когда Хабермас приехал в Париж, он заявил, что постмодернисты — всего лишь неоницшеанцы, то есть мыслители, которые лишь повторяют и развивают идеи Ницше.

Ну, это не беда. В Париже он произнёс речь на плохом английском, так что его всё равно никто не понял.

Может быть. Но в заявлении о том, что французы не сказали ничего нового по сравнению с Ницше, и проявилось немецкое высокомерие по отношению к французскому дискурсу. Однако всё же следует признать, что сегодня немцы переводят гораздо больше французов, чем французы — немцев.

Французы вообще мало кого переводят, по-видимому, полагая, что именно во Франции располагается центр культурного мира.

Да, может быть, с точки зрения французов, и переводить-то некого. Хотя дело не только в этом. Проф. Фокин, например, утверждает, что немецкая библиография по Батау лучше, чем французская. После «онтологического поворота», а затем и «лингвистического поворота», т.е. после Второй Мировой войны Германия утрачивает не только интеллектуальное и культурное лидерство, но и господствующий язык науки, которым становится английский.

Хотя французы в это время бросаются читать Гегеля.

Ну да, после лекций А. Кожева. Замечу, в культуре никогда не бывает тотального мэйнстрима, который захватывал бы всё, всегда есть контр-течения. Чем сильнее течение, тем отчетливее противоход воды у берега — это распространенная метафора древнекитайской мудрости. «Лингвистический поворот на вопрос «что есть всё?», — отвечает: «всё есть язык», но теперь — и это нужно читать между строк, — это уже английский язык. Об этом мало кто пишет, но это так. Даже выражение «linguistic turn» стало матрицей для всех последовавших поворотов: иконического «iconic turn», антропологического «anthropological turn», медиального «medial turn» и т.п.

В самой Германии сейчас происходят очень серьёзные внутренние изменения, потому что ресурс трансцендентализма серьёзно амортизирован, его место занимает не французская, а англо-саксонская философия. Всё больше и больше философов-аналитиков занимают кафедры в немецких университетах. Всё больше и больше немецких философов едут учиться в Англию и работать в США, а возвращаются домой убежденными аналитиками.

И опять-таки, существует встречное движение: насколько я могу судить, многие англосаксы обратились в сторону «франкфуртцев», потому что постпозитивизм им уже осточертел.

Артур Данто недаром говорил, что философия долгое время могла существовать лишь рядясь в платье науки. Он же, кстати, заметил, что в Европе за автора первые три книги пишет культура, намекая на то, что американцы, не имея гумуса культуры, уже первую книгу пишут сами. Интересно было бы экстраполировать это на российскую ситуацию: какую книгу мы пишем сами?

Мне кажется, у нас гумус тоньше, чем у американцев, потому что в какой-то момент мы своей почвы лишились.

Да, здесь я с Вами соглашусь, наш идеализм, обратная сторона которого тотальный нигилизм, обернувшийся пол-потовской жадой самоистребления — причина утраты культурной памяти. Но вернёмся к немцам. При последнем посещении библиотек в Германии меня удивило то обстоятельство, что на самые острые и неполиткорректные темы — например, об аттрактивности или фасцинации насилия, — пишут теологи. Мне кажется, причина в том, что теологи, являясь инстанцией нравственной оценки других, позволяют себе то, за что другие подверглись бы обвинениям.

Недавняя конференция, прошедшая в СПбГУ, «Тело, движения, чувства в эпоху медиатехнологий» (14–16 мая 2009), показала, что немецкая философия, несмотря на все разговоры о её конце, жива. О конце её говорит немецкий мыслитель Хартвиг

Франк, полагающий, что «Ныне в Германии философия концентрируется в университетах. Так было не всегда. Философы в современном смысле стали профессионалами в XIX веке, когда они стали профессорами университетов. Сейчас философы стали искать другие области применения философии. Поэтому вопрос, является ли философия наукой, для немецких мыслителей является экзистенциальным. Мне кажется, что сегодня философия из Германии уже ушла во Францию, Америку». Я позволил себе эту цитату, поскольку она весьма важна для понимания тех внутренних напряженных споров, которые ведут различные школы современной немецкой философии. При этом все знают, что делает другой: темы, направление, ориентация. Кстати, истории философии как отдельной дисциплины в германских университетах нет. Каждый профессор имеет свою собственную историю, историю своей проблемы. Есть специалисты по Канту, по Гуго Гроцию, Гартману и даже Дюрингу, по кому угодно, но историков *всей* западной философии как таковых нет. Зато эти специалисты — не просто трансляторы или интерпретаторы, они настоящие историки, прекрасно знающие исторический контекст, протагонистов и оппонентов их мысли, жизненные обстоятельства.

Боюсь, время нас поджимает, а мне хотелось бы озвучить ещё несколько традиционных для «Хоры» вопросов. Прежде всего, чем занимаетесь сейчас Вы?

В моём компьютере несколько книг в разной степени завершенности. Конкретно сейчас, я завершаю книгу «От тотальности к локальности. Опыт топологической рефлексии». Речь идёт о той возрастающей ценности локального, которая обнаруживает себя в эпоху глобальных процессов. Объяснение тех функций, которые исполняет сегодня локальное, берет на себя топологическая рефлексия, которая возрождается после её окончательной деконструкции постмодернистским проектом. Сегодня выясняется, что она обладает важным, еще до конца не выработанным ресурсом. О рефлексии *в-месте* и *вместе* с другими. Я пытаюсь прописать тот тип рефлексии, который приходит после деконструкции. Если воспользоваться метафорой зеркала: топологическая рефлексия — и в этом ее сходство с рефлексией в постструктурализме — *собирает* свой образ, отражаясь от зеркал различной природы, находящихся *при роде*. Но отличие её образа, от образа, сиюминутно рождаемого игрой рефлексов в постструктуралистской парадигме, в том, что она реабилитирует права означаемого. Топологический образ обусловлен напряжением и экзистенциальными проблемами; он возникает в контексте того единого тела и той единственной территории, в которых находится тело рефлексующего. Вследствие этого, он обретает определённую и настоятельную самоидентификацию и надежного ориентирования, включающих ответственность и побудительность практических действий в решении проблем, рождаемых современной формой воспроизводства жизни, формой производства и реализации желаний, разыгрывающихся теперь уже в обществе потребления, главной целью которого является потребление удовольствий.

Другая книга связана с медиафилософией. Мы провели уже две международные конференции по медиафилософии, выпустили три книги. Тема медиа становится популярной. Теоретики медиа анализируют способы, техники, приёмы медиа, передачу информации, акцентируя её эффективность. Но есть ещё философские проблемы, связанные с изменением реальности при помощи медиа. Они заостряют вопрос не о том, что мы делаем с помощью медиа, а как медиа влияют на нас, оказываются внутренней конструкцией видения, какую работу проделывают внутри нас. Все эти вопросы составляют со-

держание медиафилософии. Это не новый термин, но на отечественной почве эта дисциплина ещё не обрела свой отчетливый контур, не получила дисциплинарный статус.

Наверное, мешает всё та же косность, доставшаяся нам в наследство от диамата. Мне сразу вспоминается реплика одного нашего коллеги, который, листая «Вестник РФО» и обнаружив объявление о конференции по философии фотографии, воскликнул: «Чёрт знает что! Чего только не выдумают!». Таково, кстати, отношение подавляющего большинства наших коллег.

Порой вызвать раздражение людей — знак того, что ты попал в цель, то есть задел предрассудок, и, следовательно, на верном пути. Я считаю, что если человек реагирует, значит задет за живое. Гораздо хуже равнодушие или «так, ничего».

Третья книга, которую мы, вместе с моим со-редактором готовим к изданию, посвящена теме фотографии как разновидности медиа. Это уже третий том результатов исследовательского центра «Медиафилософия».

Четвертая книга — подготовка к дополненному и расширенному изданию «Философии фотографии». Мы переживаем бархатную медиареволюцию, когда цифровые образы меняют нашу аналоговую оптику, на оптику цифровую, когнитивную, которая репрезентирует не саму действительность, но визуально-концептуальный образ ее. Искусственный щелчок цифрового аппарата не итог, но начало, исходный материал производства медиареальности. Анализируя эти процессы, я нахожу достаточные аргументы не только для названия книги, но и введения новой рубрики научных исследований в области философских дисциплин. (Замечу, что термин приобретает вес: в этом году в Лондоне начинается выпуск журнала под таким же названием «Философия фотографии».) В этой книге я обращаюсь к целому комплексу современных проблем, связанных с использованием топологической рефлексии применительно к феномену фотографии. Схематично это можно обозначить так: фотография есть «поза логоса». «Поза логоса» — это конкретизация и наполнение реальным содержанием дискурса фототеории, концептами топологической рефлексии; здесь она обращена на историю искусства, и в первую очередь — на фотографию. Если перформанс я рассматривал как конверсив топоса, то настоящий фотограф — это художник, принимающий «позу логоса», вбирающий и идеологию, и логику, и нравственность и оценку происходящих событий.

Насколько я понимаю, всё это вписывается в программу «новой архаики»?

Да, во многом те интуиции, которые были у меня в то время, так или иначе проявляют себя и здесь — неразделённость субъекта и объекта, осознание его связи с топосом, сила традиции и т.д. Следы этих идей для меня заметны, но именно такая археология, боюсь, увела бы нас в далекое прошлое, чего бы я не хотел, поскольку я подхожу к этому не как историк, не ретроспективно, а, скорее, с внутренним самоотчетом. Как аналитик актуального, я прекрасно понимаю, что концепты актуального задают образ прошлого, влияют на память.

Кроме того, мне кажется, пришло время переиздать книгу «Кровь и культура», при этом сохранив настрой и интонацию в целом, отражающие то время, и добавить результаты современных исследований, уточнить частности.

Если позволите, мгновенное отступление к теме фотографии: как Вы оцениваете фотографии Бодрийяра?

Они исключительно концептуальны, а потому это не те фотографии, по поводу которых могут теоретизировать искусствоведы, поскольку он эту работу проделал за них сам. И с блеском, должен сказать. Фотографии Бодрийяра — не что иное, как иллюстрации его же философских и культурологических концептов, к которым он подбирает иллюстративный материал, из того, что сделал сам, а не заимствует у других. В этом прикладном значении, как некая визуализация теоретических положений об искусстве фотографии, как эксцесс концептуализма, они интересны.

В прошлом номере «Хоры» вышла статья нашего австралийского коллеги Алана Чолоденко, который использует фотографии Бодрийяра именно в этом значении, как иллюстрации концептуальных положений.

Хорошо, что мы сходимся во мнениях с австралийским коллегой, но ещё более, что благодаря Вам его мнение известно на наших все еще необъятных просторах с редующим на них населением. Подчеркну, фотографии Бодрийяра существуют в некоем симбиозе с теорией, а потому как художественные объекты не завораживают.

То есть, Вам такая фотография в эстетическом плане неинтересна?

Что значит эстетический план? Есть разные режимы восприятия. Например, смотря на его фотографии и читая его текст, замечаешь, что и текст, и изображение имеет самостоятельные, не покрывающие друг друга зоны. Образ и слово полностью не конвертируются — казалось бы простая мысль, но в его случае, она поучительна, поскольку касается иллюстрации концепта.

*Если воспользоваться бартовскими терминами, всё это *studium*, а *punctum* 'а нет...*

Я не очень люблю эти термины, поскольку они серьезно амортизированы. Речь не о Барте, но о хождении его терминов в современном фотодискурсе. Дело в том, что все понятия, имеющие широкое хождение, обладая определенной семантикой, имеют ограниченный исторический ресурс. Представляется, они уже выработали его. Посему, когда я слышу человека, который впервые задумался о феномене фотографии и начинает говорить о ней, он тотчас активно привлекает терминами *studium* и *punctum*, не слишком понимая, что такое фотография, не чувствующая особенность именно этой фотографии, не прилагая усилие понять её, — я пребываю в недоумении. Сегодня эти термины не открывают, а закрывают понимание существа фотографического образа. Вместо того, чтобы анализировать, автор произносит, что здесь он видит *punctum* и многозначительно замолкает.

Существо процессов, обеспечивающих всеобщность мира — не столько единые стандарты и товары, сколько образы, воображения, мечты и вожеления, а также бессознательные картины признания своих и отторжения чужих. Они есть то, что дает способ сообщать себя с другими. Новая форма колониализма — колонизация воображения (Ален де Бенуа). Меня более интересует не то, на что люди смотрят, что избирают — это социологически просчитывается, но то как нами видят образы, как они заставляют принимать решения, действовать, изменяться, и как (это менее очевидно) они заставляют нас не видеть что-то, не замечать, и здесь часто оказываются объекты или ситуации, которые прежде были символически значимыми. Фотография стоит в основе цивилизации образа. И понимание её — важно для понимания режима актуального мира.

Есть ещё ряд сюжетов, к которым я возвращаюсь все время: меня интересует тема жертвы, проблема насилия как онтологического условия существования культуры, события актуального искусства, фотографии. Наконец, я написал довольно объёмную статью о ресурсе русской философии, неожиданно вызвавшая в сети определённый резонанс.

И последний вопрос: что в последнее время привлекло Ваше внимание? Что посоветуете почитать?

Недавно я с удовольствием прочитал книгу Валерия Подороги «Мимезис». Мне кажется, это один из тех авторов, кто даёт образец того, как надо серьёзно работать с источниками, художественной литературой, с историей ее рефлексии. На фоне тотального развенчания образа (и я приложил к этому руку), отрезвляющим явилось недавнее чтение Иоана Дамаскина «Три слова в защиту иконопочитания». В поисках истоков интеллектуализма, отечественной мысли получил удовольствие от книги Геннадия Вдовина «Становление «Я» в русской культуре XVIII века» (1999). Не могу не упомянуть «Разделяя чувственное» Жака Рансьера.

Кстати, вот ещё один замечательный автор, о котором у нас не пишут!

Не совсем так, Виктор Лапицкий и проф. С.Л. Фокин его активно переводят и пропагандируют. Можно упомянуть ещё несколько имён. «Философия ориентирования» Вернера Штегмайера — образец того, как делается современная философия в Германии, как за человека пишет культура, как автор выражает интересы *своего* читателя, а также «Изобретение тела либертена» Марселя Энафа.

Большое Вам спасибо за беседу! Надеюсь, мы ещё продолжим.

Беседу провёл А.В. Дьяков